

Довлатов
и окрестности



M.
BEJOM-
LINSKY
2000

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

ДОВЛАТОВ

и окрестности

Филологический
роман



издательство **аст**
москва

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Г34

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Шарж на фронтисписе МИХАИЛА БЕЛОМЛИНСКОГО

Фотография на обложке НИНЫ АЛОВЕРТ

Г34 **Генис, Александр.**
Довлатов и окрестности. Филологический роман /АЛЕКСАНДР ГЕНИС. —
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2016. — 304 с. (Автор как персонаж)

ISBN 978-5-17-097743-7

Удача, судьба и история сделали Сергея Довлатова голосом последнего советского поколения — пишет Александр Генис. В свободном жанре “филологического романа” автор объединяет Довлатова, писателя и журналиста, с его текстами, исследуя довлатовский стиль и пунктирно набрасывая биографию представителя “поколения обочины”, эмигранта третьей волны.

УДК 821.161.1.09
ББК 83,3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-097743-7

- © А. Генис, 2011, 2016
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016
- © Lev-Tov Consulting Corp., фото на обложке
- © ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®

Содержание

Без Довлатова 7

ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ

Филологический роман

Последнее советское поколение	13
Смех и трепет	28
Поэтика тюрьмы	44
Любите ли вы рыбу?	56
Метафизика ошибки	71
Щи из боржомы	86
Tere-tere	99
Поэзия и правда	114
Все мы не красавцы	129
Пустое зеркало	144
Роман пунктиром	158
All that jazz	175
Пушкин	189

Концерт для голоса с акцентом	218
На полпути к родине	235
Матрешка с гениталиями	251
Невольный сын Эфира	268
Смерть и другие заботы	286

Без Довлатова

Когда 13 марта 1998 года я закончил эту книгу, мне казалось, что я дописал некролог, начатый в день смерти Сергея. Но спустя 18 лет и множество изданий, я уже не думаю, что сказал о Довлатове все, что можно. Он сам и виноват, ибо умер на полпути, который продолжился после его смерти.

Незадолго до нее, после перерыва, мучительно-го для каждого автора, наконец пошли новые рассказы, из которых Сергей хотел составить сборник “Холодильник”. Он думал построить его на манер отлично получившегося “Чемодана”. В “Холодильнике”, из которого, кстати сказать, автор намеренно изъяс спиртное, Сергей использовал, казалось, уже отработанный материал. Но в двух его самых последних рассказах “Виноград” и “Старый петух, запеченный в глине” появилась новая тема. Довлатов брал своих русских пер-

сонажей, помещал их в Америку и смотрел, что из этого получится. Вышло интересно, свежо и неожиданно глубокомысленно. “Петух”, например, развивал на фоне мотив из “Короля Лира”: “Сведи к необходимости всю жизнь — и человек сравняется с животным”. Не зря любимым из собственных рассказов у Довлатова был “Лишний”.

Может быть, благодаря этому подъему в свое последнее лето Довлатов выглядел сосредоточенным и почти счастливым. Он совсем не хотел умирать, тем более, как писали в советских некрологах, от тоски по родине. Жизнь на родине, как хорошо знал Довлатов, опаснее, чем ностальгия.

Прошло четверть века, но ничего не изменилось. Довлатова по-прежнему любят все — от водопроводчика до академика, от левых до правых, от незатейливых поклонников до изощренных книжников. От тучных лет перестройки, вместе с которой Сергей возвращался в литературу метрополии, осталось не так уж много имен. Кумиры гласности, ради книг которых мечтали свести леса и рощи, остались в старых подписках толстых журналов. Но тонкие довлатовские книжки — не памятники эпохе, а по-прежнему живое чтение. Как написал Бродский, эти книги нельзя не прочесть за один присест. Говорят, что вернувшийся в Россию Солженицын спросил, что тут без него появилось хорошего. Ему принесли первый том Довлатова, потом — второй, наконец — третий. И это при том, что в Аме-

рике Солженицын Довлатова не замечал, как, впрочем, и всю нашу Третью волну.

Сегодня тайну непреходящего успеха Довлатова ищут многие. Снимают фильмы, пишут статьи, устраивают конференции и фестивали. Но мне кажется, что секрет его письма лежит на поверхности, где, словно в хорошем детективе, его труднее всего заметить. В прозе Сергей создал собственную благородно сдержанную манеру, скрытно контрастирующую с безалаберным, ущербным, но безмерно обаятельным авторским персонажем.

С этим Довлатов вошел в отечественную словесность, избегая, в отличие от многих его питерских соратников, авангардного скандала. Сергей ведь никогда не хотел изменить русскую литературу, ему было достаточно оставить в ней след. По своей природе Довлатов — не революционер, а хранитель. Ему всегда казалось главным вписаться в нашу классику. Что он и сделал.

За четверть века, которые прошли со дня преступно ранней довлатовской смерти, в русской литературе перепробовали все на свете: соц-арт, постмодернизм, передергивание, комикование, стеб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова и стала неотразимой, ибо он — нормальный писатель для нормальных читателей. Сергей всегда защищал здравый смысл, правду банального и силу штучного, и к этому относил простых людей, зная, впрочем, что ничего простого в них не было. Отметая школы и направления, До-

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

влатов ценил в литературе не замысел и сюжет, а черту в портрете, тон диалога, не постепенный путь к финалу, а момент истины, не красоту, а точность, чтобы не вширь, не вглубь, а ненароком, по касательной, скрытно, как подножка, и непоправимо, как пощечина.

Такие книги он любил, такие книги он писал, и этого ему никогда не забудут.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС
Нью-Йорк, июль 2016

Довлатов
И
окрестности

Филологический роман

Последнее советское поколение

1

Сегодня мемуары пишет и стар и млад. Повсюду идет охота на невымысленную реальность. У всех — горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом — реакция на гибель режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно как последний римский император, если верить Дюрренматту.

Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удастся тем, кто к нему и не прима-

звался. Гордый своей маргинальностью, мемуарист пишет хронику обочины.

Раньше воспоминания писали, чтобы оценить прошлое, теперь — чтобы убедиться: оно было. Удостовериться в том, что у нас была история — своя, а не общая.

“В хороших мемуарах, — писал Довлатов, — всегда есть второй сюжет (кроме собственной жизни автора)”.

У меня второй сюжет как раз и есть жизнь автора, моя жизнь.

Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. Загсы в этот день работали — о смерти Сталина сообщили позже.

Советская власть появилась за 36 лет до моего рождения и закончилась через 36 — с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события — частные. Я не могу вспомнить ничего монументального. Что и дает мне смелость вспоминать. Хотя вспомнить особенно нечего. Не только мне — всем.

Авторов более уверенных, чем я, это не смущает. Кейдж, тот самый, что заставлял на своих концертах слушать тишину, писал: “Мне нечего сказать, я говорю об этом, и это поэзия”.

Мне до этого не дотянуть. Я люблю абсурд, но только у других. Сам я — раб осмысленного по-

вестования. Мне неловко задерживаться на деталях, которые и для меня-то не имеют особого значения. А ведь из них — как выяснешь рано или поздно — состоит жизнь.

Пожалуй, мое самое значительное метафизическое переживание связано с осознанием незначительности любого опыта.

В университете я учился лучше всех, что было нетрудно — преподавательницы меня любили. Еще и потому, что вместе со мной мужской пол на всем курсе представляли трое. Один — чрезвычайно прыщавый поэт, другой, наоборот, стал после филфака офицером. Я же был хиппи, отличником и пожарным. Экзамены приходил сдавать в кирзовых сапогах. На гимнастерку из-под форменной фуражки свисали длинные волосы. Короче, в нашем унылом заведении я был не последним развлечением.

Тем не менее вместо меня в аспирантуру, о которой я страстно мечтал, приняли долговязую генеральскую дочь, писавшую, как все у нас, меланхолические стихи. В Риге мне делать больше было нечего, и я уехал в Америку.

Прошло много лет, и вся эта история кажется — да и есть — совершенно неважной.

Чему завидовать? Диссертации “Шолохов в Латвии”? Папе-генералу, который оказался обузой в этой самой теперь уже независимой Латвии?